

ЛУЧШИЕ КНИГИ СССР

70. Бондарев

Берег



ЭКСМО

Москва
2015

УДК 821.161.1-31
ББК 84(2Рос=Рус)6-44
Б81

Оформление серии *Ф.Барбьшева, А.Саукова*

Иллюстрация на переплете *Ф. Барбьшева*

Бондарев, Юрий Васильевич.

Б81 *Берег* / Юрий Бондарев. — Москва : Эксмо, 2015. — 432 с. —
(Лучшие книги СССР).

ISBN 978-5-699-79797-4

Один из самых ярких представителей «прозы лейтенантов» и едва ли не родоначальник этого направления, Бондарев предельно честен в изображении войны. Он не скрывает ее ужасов, он знает им цену, ибо на фронте не раз сам смотрел в глаза смерти.

Но вопросы нравственного самочувствия для писателя куда важнее «правды войны». Бондарев стремится понять правду о человеке, убедиться в том, что любовь сильнее ненависти. В числе лучших его произведений роман «Берег», ставший культовым едва ли не на следующий день после выхода.

Герои Бондарева всегда находятся между двумя берегами: жизни и смерти, любви и ненависти, порядочности и подлости. Они должны выбирать. Автор не делает выбора за них. Но всегда понятно, на чьей он стороне.

УДК 821.161.1-31

ББК 84(2Рос=Рус)6-44

ISBN 978-5-699-79797-4

© Бондарев Ю. В., 2015

© Издание, оформление.

ООО «Издательство «Эксмо», 2015

Часть первая

По ту сторону

1

Воздушный лайнер гудел реактивными двигателями на высоте девяти тысяч метров, и здесь, в солнечном арктическом холоде, за толстыми стеклами иллюминаторов сияли глыбами, проплывали по горизонту ослепительно сахарные айсберги, а где-то в белой глубине, ниже их, закрытая сплошной льдистой грядой облаков, оставалась как бы потерянная земля.

И хотя сознанием измерялась страшная глубина под чуть-чуть вибрирующим, неуклонно летящим в поднебесье полом, в теплых салонах стало оживленно, уютно от солнца, от наконец начатого удачно полета после ожидания на аэродроме. Везде потянулись, заслоились по салону в плоских сверкающих лучах легкие, особенно душистые сейчас дымки сигарет, пассажиры расстегивали привязные ремни, откидывали удобнее спинки мягких кресел; везде зашуршали разворачиваемые газеты, розданные двумя очаровательными своей молодой стройностью и нежными, приглашающими улыбками стюардессами (будто сказочно сошедшими с реклам международных рейсовых расписаний); досасывались взлетные карамельки, которые несколько минут назад они с теми же пленительными улыбками разносили на подносиках; потом уже в разных концах салона зазвучала русская и немецкая речь — мирно обволакивала общая дорожная успокоенность, безмятежное ощущение дорожного комфорта, надежда, что все обещает быть незатруднительным, удобным, как бывало и будет всегда.

Это освобожденное чувство оторванности от всего домашнего, будничного, первоначально возникшее на аэродроме и теперь раскованно-приятное в самолете, среди открывшейся солнечной высоты за иллюминаторами, приглушенного рева мощных двигателей, услышанной чужой речи, среди благостного салонного рая, ритуально освященного ласковыми улыбками длинноногих стюардесс, этих непорочных ангелов-хранителей душевного покоя в небе, — чувство не отягощенного заботами полета было знакомо Никитину, и он сбоку вопросительно взглянул на Самсонова — вместе им летать не приходилось ни разу.

Самсонов, еще опоясанный по круглому животу застегнутым ремнем, с рассеянным любопытством поворачивал голову к соседним через проход креслам — там, перелистывая на коленях журналы, громко разговаривали три пожилые, туристского вида немки, указывали дымящимися сигаретами на занавеску впереди салона, куда ушли стюардессы. Сквозь звон двигателей Никитин разобрал слова «эссен», «фрюштюк» и сказал весело — хотелось говорить о пустяках:

— Платоша, не прислушивайся к чужому разговору. О чем они? О завтраке, как я догадливо сообразил, который сейчас неизбежен? Неплохо было бы закусить холодной курицей и выпить минеральной.

— Немочки умирают от голода, — ответил, вздыхая, Самсонов. — Говорят о том, что давно позавтракали в гостинице «Метрополь» и не мешало бы подкрепиться. Они из Кельна. Милые создания... Только услышу эту речь, и срабатывает рефлекс. Интоксикация. В войну я с ними наговорился — сыт на всю жизнь...

— Нет, Платон, холодная курица после коньяка — это вещь в самолете незаменимая.

Самсонов отпустил ремень, пошарил кнопку для откидывания спинки кресла, неуклюже откинулся, долго сопел, обратив к Никитину широкоскулое свое лицо, вглядываясь усталыми, иконными глазами — обычной колючести не было в них, а была грустная подозрительность интереса узнать причину вот этой шутилой фразы Никитина, словно бы исповедующего сейчас этакую философию бездумного туриста, беспечно по-

лужежащего в кресле и занятого лишь мыслью о холодной курице и минеральной воде.

— Я вижу, Вадим, что ты доволен началом одиссеи. Н-да, что-то будет.

— А знаешь, я рад, что лечу к немцам именно с тобой, Платоша, — сказал Никитин.

— Взаимно, — пробормотал Самсонов. — Это чувство имеет место.

Они были знакомы лет пятнадцать-семнадцать. В течение этих лет их пути нередко перекрещивались и зачастую соединялись, книги обоих выходили почти одновременно. При всей разительной несхожести манер — жесткой эмоциональности, нервной обнаженности Никитина и спокойной, выверенной прозы Самсонова, что непостижимо противоречило внешним проявлениям обоих, — их довольно прочно упоминали рядом в одних и тех же критических статьях о послевоенном поколении, и хотя оба они понимали ни в чем не совпадающую разность, их постоянно тянуло друг к другу — это объединенная одним опытом судьба поколения военных лет и что-то еще, за долгие годы знакомства не угаданное в общении, порой скрытое иронической полushуткой, даже в вечерних телефонных разговорах, приблизительно таких: «Загордился, Вадимушка? Не звонишь? Лежишь на диване, покуливаешь и пожинаешь лавры? Когда ты успеваешь повести строгать, классик? Негров нанял? Прочитал, прочитал. Профессор твой — ничего, девка на переправе с узкими глазками тоже ничего, а генерал — совсем не в дугу, интеллигентик он у тебя, таких не было. Вот подожди, закончу свой опус — младенцами вы все окажетесь». — «Не сомневаюсь, Платоша, и жду потрясений». — «Подожди, Никитин, подожди, еще будешь проливать горячие слезы над моими страницами, — смеялся по телефону Самсонов, после чего на память говорил короткую мускулистую, прекрасную фразу, нагруженную настроением и смыслом. — Ну, позавидовал? Рвешь волосы? Вот так, ребяташки мои, писать надо. Три года обдумывал конец. Эх, какие вы ребенки еще!»

Самсонов работал чрезвычайно медленно, по строчкам, по абзацу в день, в сомнениях выдавливал слова с трудолюбивой мукой, веря и не веря в их силу, ненавидя эпитеты и все

же густо насыщая ими фразу, до предельной тесноты, но при этом был всегда тонок, особо прелестен конец вещи, последние главы. Однако, когда говорили ему о некоторой стилиевой перегруженности, он держался за каждое слово, защищал его сопротивлением бычьим, багровел, загорался гневом, устраивая затяжные скандалы с редакторами издательств, и иные критики побаивались его неудержимых взрывов, ударов «под дых», иные считали его неудобоваримым крикуном, не стесняющимся грубых «кавалерийских наскоков» на собратьев по перу, ибо иногда, по случаю, встретив в кулуарах клуба какого-нибудь неосторожного критика, он кричал ему вспльчиво:

— Артельные Сократы вы, домашние правдолюбцы, жуετε и пережевываете оскоминные аксиомы за рюмкой водки? Вам нравится косноязычный телеграфный стиль? Я не телеграфист! Я слишком подробен? И останусь таким! Мне наплевать и позабыть все, что вы пролепетали здесь! У меня диспепсия от вашего модного словотечения, от вашей менструации мысли. Я вас нежно люблю и обнимаю. Я иду в аптеку и покупаю касторовое масло для очищения желудка!

Эта раздражающая многих упорная неподдаваемость Самсонова, наживавшая ему недоброжелателей и вместе почитателей (твердость уважают), более всего приближала к нему Никитина — в этом была военная косточка прошлого, та самонадеянная уверенность, что так необходима была тогда... После первой книги он привык к тому, что Самсонов ревниво, с особенным пристрастием читал его, скупно хвалил и ругал, вроде бы удерживаясь высказать окончательное суждение, причем толстоватое лицо возбужденно покрывалось красными пятнами, глаза под стеклами очков становились влажными, грустными, горячечными. И в те минуты представлялся почему-то Никитину его кабинет, неуютный, сумрачно темный от громоздких книжных шкафов, от старинного, с чудовищно массивным чернильным прибором письменного стола, заваленного безалаберно рукописями, книгами, кругло и мелко исписанными листками бумаги; на них виднелись кольцообразные следы, оставленные чашками кофе, который он беспрерывно пил во время работы; представлялась широ-

кая тахта в углу, и его муки за этим столом и на этой тахте, где он, обессиленный, лежал, уткнувшись лбом в подушку, мыча, бормоча что-то в поисках слова, фразы, — так Никитин застал его однажды, зайдя утром в часы работы.

И стоило лишь вообразить страдания Самсонова перед чистым листом бумаги, его пытку неуловимым словом, как Никитин испытывал почти стыдливое чувство — он заставлял себя сидеть за столом часов по девять, но писал легче, быстрее, независимо от нескончаемой правки, и если процесс работы Самсонова можно было назвать мучительной каторгой (четыре часа в день), то его работа была каторгой двойной по протяженности, но все же гладкой. Поэтому, когда речь заходила о книгах Самсонова, он был чересчур мягок и полусхвату говорил в таких случаях, что принимает и закономерность усложненной фразы, так как упрекать, пожалуй, следует только писателей-скворцов, беззастенчивых имитаторов чужих звуков, выдаваемых за найденные истины. Он, не желая обидеть Самсонова, не переступал порог полной искренности.

— ...Черт с ними, с немками и завтраками, — сказал Никитин, шире раздвинув шторку на окне. — Посмотри-ка на солнце, Платон, и к вечности прикоснись, земные заботы забыв... Ничего себе, дюю гексаметром, кажется, отбиваю хлеб у поэтов?

— Боюсь, начнешь сейчас рывкать арии из оперетт на весь салон, — бормотнул Самсонов. — Чему восторгнулся?

— На земле осень, туман, а тут — чистота, голубизна, никакой осени — вот что прекрасно, Платоша!

За иллюминатором слепил в холодном пространстве металлический блеск высотного солнца; рафинадные торосы, курчавясь, неподвижно сверкали краями остропиковых вершин на бесконечной белой равнине застывших внизу облаков. В воздухе отовсюду излучался неограниченный снежный свет; этот свет ходил вместе с солнцем по салону самолета, пронизывая дымки сигарет над спинками откинутых кресел.

Самсонов нарочито равнодушно скосился на ослепляющее стекло иллюминатора, проговорил:

— Лучше скажи вот что... Литературное общество в Гамбурге, что за фрукт, что за такая штука? Какой ориентации? Задвинь занавеску, глаза режет...

Никитин наполовину задернул скрипнувшую рамками шторку, спросил:

— Что именно тебя беспокоит?

— Хотел бы я знать, в какие западногерманские руки мы попадем. Тебя это не беспокоит?

— Насколько мне известно из писем некой фрау Герберт, они приглашают для встреч прогрессивных писателей мира. В том числе из Восточной Европы. Были поляки — мы приглашены вторыми. Но ты это знаешь.

— Положим. В общих чертах. А кто такая фрау Герберт?

— Не имею понятия, — ответил Никитин и написал пальцем на стекле невидимую фамилию «Герберт». — Судя по написанию фамилии, старушенция в белом кружевном воротничке, благородного, аристократического воспитания, влюбленная в русскую литературу — Достоевский, Чехов, Толстой, — ну да вот прочитай ее последнее письмо...

Он достал записную книжку, вытянул из середины сложенное вчетверо письмо, и Самсонов развернул глянцевито-белую бумагу, плотно заполненную машинописным текстом, пошевелил бровями, стал читать, переводить, комментировать вслух.

— «Глубокоуважаемый господин Никитин! (Ах, ты, оказывается, господин. Ну, тогда все ясно... Как это тебя раньше не разглядели, при папе, не вывели на чистую воду?) Литературный клуб города Гамбурга имеет функции встречаться за круглым столом... (Как модны стали эти круглые столы, нет, не за столом, а на тебе — за круглым... по темноте своей понял: значит, без острых углов) с писателями стран Европы, обмениваться мнениями о современной культуре, проводить дискуссии на тему «Писатель и современная цивилизация» в атмосфере дружелюбия, независимо от того, в какой стране живет писатель — в системе западного капитализма или восточного коммунизма. Три ваших новеллы, господин Никитин...» (Новеллы, господин Никитин, смею вам заметить, по-европейски — романы, запомните, глубокоуважаемый.)

— Продолжай.

— Продолжаю... «переведены в Западной Германии издательством «Вебер», о вас писали в журналах «Штерн», «Шпи-

гель» как о восходящей звезде на Востоке, и ваша последняя новелла «Дорога назад» пользуется у нас большим успехом...». (Ты смотри, что делается, стал любимцем западной публики. Покорил Запад, пошибал всех с ног своей «Дорогой...» и еще сидит со скромным видом, как простой смертный!)

— Ерничай, ерничай, но мотай на ус.

— «...в среде интеллигенции и молодежи, и мне приятно сообщить вам, что в моих книжных магазинах за две недели были распроданы все экземпляры...» (Ого! Готовь чемоданы для гонорара. Хоть шерсти клочок... Разорь капитализм дотла, пускай их по миру с протянутой рукой.)

— Читай, читай.

— «...Известный профессор литературы и критик из издательства «Родволь» доктор Кунц определил ваш талант как трагический, он писал, что у вас два кровных отца — Достоевский и Толстой, а между тем я думаю, что вам гораздо ближе Чехов, хотя конец последней новеллы очень тяжелый, вы так омрачаете сердце! Вы так безжалостно погубили в начале войны своих героев, что слезы выступают на глазах и с печалью долго не расстаешься. Это так грустно». (Вот тебе и фрау, выдала по первое число, как какой-нибудь бодренький критик. Пессимист ты, оказывается, певец трагических сторон!)

— Как видишь.

— «...Простите, господин Никитин, за очень смелое с моей стороны замечание, но оно ведь высказано в личном письме, и если оно вас сколько-нибудь обидело, не обращайтесь внимания. Писатель не должен никого слушать, кроме себя...» (О, эта фрау, оказывается, с хитрецей, ввинтила мысль о независимости писателя! Уже начала дискуссию — и все тут.)

— Читай дальше.

— «Литературный клуб хочет, чтобы вы посетили нас, и послал вам приглашение двадцатого августа, но ответа от вас до сих пор не получили. Очень прошу вас ответить, как скоро можете вы быть в Гамбурге. Если у вас есть возможность посетить наш город в срок между десятым и двадцатым ноября, то мы сделали бы все, чтобы ваше пребывание у нас было приятным. Если вы не разговариваете на немецком языке, то мы будем рады вашему приезду с переводчиком. Примите с уважением

и признательностью привет от вашего издателя, господина Вебера. С самыми наилучшими пожеланиями и ожиданием вас. Госпожа Герберт, член Литературного клуба. Пэ-Эс. Сообщите перед вылетом рейс самолета, и на аэродроме в Гамбурге я встречу вас. Надеюсь, я узнаю вас по фотографии в вашей книге, в том случае, если вы, конечно, сильно не изменились».

— Любопытно и занятно, — сказал Самсонов, возвращая письмо Никитину, и, потянув воздух носом, возвел грустные, иконные глаза к потолку салона. — Будут рады и переводчику. В качестве инкогнито из Иностранной комиссии. Красиво! Я — переводчик. Вдвойне красиво! Бросил собственный роман на сто двадцатой странице, лечу в Гамбург, страдаю из-за тебя, как дурошлеп. Во имя каких благ? Не хватит коньячку, чтобы расплатиться со мной. Так-то! Но зачем я тебе как переводчик? Ты сам способен лезен унд шпрехен дойч! Для свиты, что ли, предложил меня?

— Мои знания в немецком языке по сравнению с твоими — горькие рыдания, — ответил Никитин. — Я хотел, Платон, чтобы именно ты поехал со мной. И не в качестве переводчика. Это проформа для Иностранной комиссии. Вдвоем нам будет легче во всех смыслах.

Самсонов снял очки и, кулаками протирая глаза, шумно зевая, заговорил фальшивым сквозь зевоту голосом:

— Жалко мне тебя, господин Никитин, что-то подозрительно шибко начали ласкать тебя на Западе. Смотри — головка не закружилась бы. Не вознесись в гордыне, не выпрыгни из штанов. Это я по поводу письма и прочая... Опасаюсь — кино тебя развратит, легкие деньги и всякие западные поклонницы типа госпожи Герберт. Паришь, как ангел, не приземлишь, как черт.

Он снова зевнул, широко, по-сомовьи распахивая рот, отчего получилось растянутое завывание «аха-ха-ха-а», и Никитин засмеялся, сказал:

— Постараюсь следовать твоим руководящим указаниям, Платоша. Зевашь же ты в высшей степени гениально. Неужели спать?

— Так вот, звезда Востока, вникни во все, рассчитай, подумай, сообрази, как жить дальше, а я минут пять шляфен, шляфен...

Самсонов скрестил руки на груди, прикрыл веки, глубоко дыша носом, лицо стало отрешенным, страдальчески сердитым, какое бывает в моменты отдыха у переобремененных постоянными заботами людей. Он задремал или хотел задремать после усталости суетных волнений, аэродромного ожидания, долгих разговоров, и толстоватые руки его, скрещенные на груди, его поза выражали спокойное достоинство знающего себе цену человека.

«За кого сейчас его можно принять? — подумал Никитин, веселя, представив чужой взгляд на Самсонове. — Состоятельный отец семейства. Благополучен, обаятелен в своей полноте, дела идут хорошо. Чем-то озабочен, хотя все стабильно. Что еще? Благоразумен, аккуратен, любит порядок в своем доме. Портрет не сомневающегося в истинах человека. Литературные реминисценции. Но почему я подумал об этом? Да потому, что отлично, — мне будет легче с ним...»

2

Еще чувствовалось подрагивание, невесомое ныряние пола самолета, еще звучал в заложенных ушах звенящий рев двигателей при посадке, поэтому, когда вместе с группой пассажиров они вошли через пневматические двери в стеклянное здание гамбургского аэропорта, окликнувший женский голос нечетко дошел до них:

— Господин Никитин?..

Довольно высокая, в темном костюме женщина лет сорока, с прядями чистой, аккуратной седины в каштановых волосах, улыбаясь им издали, сразу же быстро направилась к обоим из толпы встречающих около дверей первого зала, и Никитин, тоже улыбаясь, поставил тяжелый от четырех бутылок коньяка портфель, не вполне твердо проговорил на немецком языке:

— Госпожа Герберт! По-моему, я не ошибся? Здравствуйте! Да, я Никитин. А это мой друг — писатель Самсонов. (Самсонов, чрезмерно корректный, сдержанно кивнул фрау Герберт.) Значит, вы все же узнали меня? По фотографии? Неужели?

— Да-да, господин Никитин. Я очень рада, что вы приехали! Мы так долго ждали вашего приезда! Мы уже потеряли всякую надежду...

Она неожиданно крепко ответила на его рукопожатие, она смотрела ему в лицо, и в ее молодых, не соответствующих седине, возбужденно-радостных синих глазах мелькало подавленное улыбкой выражение, похожее на испуг и растерянность. Она повторяла:

— Да-да, господин Никитин... Я прошу вас к машине. Она здесь недалеко. Нет, сначала мы получим вещи. Как вы чувствуете себя после самолета?

— Терпимо, — ответил Никитин. — Спасибо. Кажется, живы оба.

И когда, получив вещи в зале багажа, вышли из здания аэропорта и фрау Герберт, не расслабляя на губах улыбки, незамедлительно повела их к стоянке машин, Никитин заметил, как на ходу она излишне торопливо и нервно принялась дергать, расстегивать замочек сумочки, доставая, по-видимому, ключик зажигания.

— Господа, только одну минуту... Мы сейчас поедem в отель. Чемоданы, пожалуйста, в багажник. Если вам удобно, господин Никитин, то сядьте рядом со мной. Так будет лучше разговаривать.

Машина госпожи Герберт, новый, весь влажно отливающий лаком вишнево-коричневый «Мерседес», была удобна, вместительна — погруженные два чемодана поглотил огромный багажник, и здесь, в машине, сев возле фрау Герберт, Никитин внятно почувствовал пряный запах невыветренных духов, разбавленный горьковатой химией синтетической обивки, запахи чужой жизни, чужих вещей, всегда обостренно воспринимавшиеся им вдали от дома, и подумал томительно: «Вот я и опять за границей».

— Сигареты? — спросила фрау Герберт. — Господин Никитин? Господин Самсонов?

— Спасибо, я до чертиков накурился в самолете. Подожду.

— Аналогично, — ответил Самсонов. — Воздержусь.

А она, снова торопясь, подергала замочки, расстегнула на коленях сумочку, тотчас вынула пачку сигарет, зажигалку, закурила с жадностью, выдохнула дым, толкнувшийся в ветро-

вое стекло, потом стала натягивать перчатки, тесные, скрипящие тонкой кожей.

— Простите, одну минуту... — проговорила она. — Вы первый раз в Гамбурге, господин Никитин?

— Вы спросили, первый ли я раз? Да. Я вас прошу, фрау Герберт, говорить медленно. Иначе не пойму, с непривычки.

Она виновато поморщилась, на левую руку ее тугая и узкая, как змея, перчатка полностью не натягивалась, никак не поддавалась — тогда она сорвала ее с пальцев, скомкала, бросила на сиденье, к сумочке, и спросила очень медленно, поворачивая машину на мокрый брусчатник мостовой:

— Но хоть раз... когда-нибудь вы были в Германии, господин Никитин?

— Был в войну. Сорок пятый год, фрау Герберт.

— В Берлине?

— Нет, в трех городах. Берлин, Потсдам, Кенигсдорф. Однако Кенигсдорф — это дачный, маленький городок, вы можете его и не знать, — сказал Никитин.

— О боже мой, вы были в Германии! — одними губами говорила она и, неуголенно затягиваясь сигаретой, спросила, выделяя каждое слово: — Скажите, господин Никитин, неужели мы все еще помним, что была война?

— К сожалению, фрау Герберт.

Он отвечал ей так же замедленно, вникая в звук немецкой речи, в растягиваемые ею, точно на домашнем уроке, фразы, и, отвечая, не без интереса глядел по сторонам на сумрачно-серый ноябрьский, сыплющий мелким дождем город, насквозь сырой, набухший влагой, прижатый низко огрузшим над крышами пепельным небом, на рано зажженный свет за витринами магазинов, на непрерывное движение черных зонтиков по тротуарам, на их густое скопление на переходах под светофорами.

Он смотрел на обмытую, еще не по-осеннему зеленую траву тщательно подстриженных газонов, по которым ходили нахохлившиеся чайки, и подсознание привычно пыталось задержать и ту морскую сырость, и сумеречность осенних улиц, и это скольжение мимо витрин одинаково влажных креповых зонтиков в туманце дождя, и механическое мигание на перекрестках светофоров, сразу сдерживающих и сразу выпу-